

КАТЯ ПЕТРОВСКАЯ  
Кажется Эстер



Катя Петровская  
**Кажется Эстер**

«Издательство Ивана Лимбаха»

2015

УДК 821.112.2-31 «20» = 161.1 = 03.112.2  
ББК 84.3 (4Гем) 64-444-021 83.3

## **Петровская К.**

Кажется Эстер / К. Петровская — «Издательство Ивана Лимбаха», 2015

ISBN 978-5-89059-426-6

Роман, написанный на немецком языке уроженкой Киева русскоязычной писательницей Катей Петровской, вызвал широкий резонанс и был многократно премирован, в частности, за то, что автор нашла способ описать неопишуемые события прошлого века (в числе которых война, Холокост и Бабий Яр) как события семейной истории и любовно сплела все, что знала о своих предках, в завораживающую повествовательную ткань. Этот роман отсылает к способу письма В. Г. Зебальда, в прозе которого, по словам исследователя, «отраженный взгляд – ответный взгляд прошлого – пересоздает смотрящего» (М. Маликова). Роман удостоен премии имени Ингеборг Бахман, премии Strega Europeo, литературной премии города Аален Шубарт, премии Эрнста Толлера и литературной премии Aspekte. Книга переведена на двадцать языков.

УДК 821.112.2-31 «20» = 161.1 = 03.112.2  
ББК 84.3 (4Гем) 64-444-021 83.3

ISBN 978-5-89059-426-6

© Петровская К., 2015

© Издательство Ивана Лимбаха, 2015

## Содержание

Слава тебе, гугл[1]	6
Глава первая. Весьма типичная история	10
Семейное древо	10
Отрицательные числа	12
Список	14
Рецепт	16
Perpetuum mobile	19
Соседи	22
В музее	24
Глава вторая. Роза и немые	25
Симон, умеющий слушать	25
Полет	28
Врата	29
Нить Ариадны	31
Последняя мама	36
Могендовид	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Катя Петровская Кажется Эстер

© Suhrkamp Verlag Berlin, 2014

© М. Л. Рудницкий, перевод, 2021

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021



## Слава тебе, гугл<sup>1</sup>

Лучше бы мне начинать свои путешествия не отсюда, не с этого привокзального пустыря, который все еще напоминает об опустошении целого города, разбомбленного и разрушенного в ходе победоносных сражений, в отместку, так мне казалось, – ведь именно отсюда, из этого города, началась и велась война, на стальных колесах, на стальных крыльях, этот бесконечный и нескончаемый блицкриг, принесший разрушения тысячекратно более страшные, везде и повсюду. Хотя сам-то город давным-давно стал одним из самых мирных городов на свете и демонстрирует свое миролюбие чуть ли не агрессивно, в знак забывения той войны.

Вокзал был построен недавно в самом центре, и, несмотря на все выказываемое городом миролюбие, вид имеет неприветливый, словно воплощая собой все утраты, которые никаким прибытием никаких поездов уже не восполнить, это одно из самых неприветливых мест во всей нашей вдоль и поперек объединенной, испещренной границами Европе, – место, где гуляют сквозняки и взгляду не на чем остановиться и отдохнуть, кроме окружающего запустения, невозможно утешиться созерцанием привычной городской толчеи людей и строений, прежде чем уехать отсюда, из этой зияющей в самом центре города пустоты, которую никакое правительство ни грандиозными сооружениями, ни благими намерениями заполнить не в силах.

Сквозняками тянуло и сейчас, когда я, стоя на перроне, в который раз ощупывала скучливым взглядом крупные буквы транспаранта *Bombardier*<sup>2</sup>. *Добро пожаловать в Берлин* под мощной аркой вокзального свода, не переставая и на сей раз изумляться самоубийственному милосердию этого *Добро пожаловать*. Сквозняками тянуло и когда ко мне вдруг приблизился пожилой господин и заговорил об этом Бомбардире.

Первое, что приходит в голову, – это бомбы, сказал он, бомбы и еще артиллерия, и вообще вся эта жуткая, уму непостижимая война, и совершенно непонятно, с какой стати именно Берлин, этот прекрасный, мирный, а в ту войну дотла разбомбленный город, приветствует новоприбывших, приезжих вроде него, буквально бомбардируя их аршинными буквами такого вот призыва, и что значит вдобавок это *Добро пожаловать*, кто, кого и к чему тут приглашает? Объяснение требуется срочно, ведь ему сейчас уезжать. Слегка удивившись, что мой внутренний голос в образе этого пожилого мужчины, черноглазого, с взволнованным американским акцентом, уже не сдерживаясь, почти захлеб, все торопливей и нетерпеливей забрасывает меня вопросами, с которыми я и сама сотню раз поигрывала в мыслях, – *play it again*<sup>3</sup>, подумала я, стоя на перроне и все глубже погружаясь в эти вопросы, в раскрывающуюся за ними необъятность, – я ответила, что и я тоже первым делом думаю о войне, значит, дело не в возрасте, я вообще всегда думаю о войне, особенно здесь, на этом транзитном вокзале, куда ни один поезд не прибывает окончательно, только проездом, а если проездом – и волноваться не о чем, едем дальше, подумалось мне, ведь он не первый, кто себя – и меня – об этом спрашивает. Слишком часто я тут бываю, промелькнуло у меня в голове, может, я вообще стрелочник, тот, кто стрелки переводит и, как поется в русской песне, всегда во всем виноват, – и в этот миг старик вдруг сказал: *my name is Samuel, Sam*<sup>4</sup>.

Вот тогда я и поведала ему, что «Бомбардир», или «Бомбардь», – это французский музыкл, который с большим успехом идет в Берлине, многие специально сюда ради этого при-

---

<sup>1</sup> В тексте перевода, согласованного с автором, могут быть замечены некоторые незначительные расхождения с немецким оригиналом. *Здесь и далее примеч. пер.*

<sup>2</sup> Бомбардир, а также бомбардировщик (*франц.*), произносится как «бомбардь», в немецком произносится почти как по-русски, «бомбардир», в том же значении, но одновременно может быть понято и как повелительное наклонение глаголов «бомбардировать» или «бомбить».

<sup>3</sup> Сыграй еще разок (*англ.*).

<sup>4</sup> Меня зовут Самюэль, Сэм (*англ.*).

езжают, представляете, только ради мюзикла, что-то про Парижскую коммуны и все такое, вообще про те времена, две ночи в отеле плюс мюзикл, и, разумеется, как нынче водится, «все включено», и уже были обращения граждан, с какой стати на главном вокзале призывают бомбить, что за реклама такая, из одного-единственного слова, без всяких тебе пояснений, уже и в газетах об этом писали, я отлично помню, продолжала я, все сильнее вдохновляясь собственным вымыслом, там так и говорилось, мол, слово порождает ложные ассоциации, и даже иск был подан и в суде рассматривался, город против мюзикла, привлекали экспертов-лингвистов, представляете, они анализировали это слово на предмет наличия в нем «насильственного потенциала», короче, призывов к насилию, однако в итоге суд вынес приговор в пользу свободы рекламы. Излагая все это, я и сама все больше верила собственным словам, хотя понятия не имела, что на самом деле означает это *Бомбардир-добро-пожаловать-в-Берлин* под сводами вокзала и откуда оно вообще взялось, однако версия, которую я столь увлеченно сочиняла на ходу и которую ни в коем случае не назвала бы враньем, окрыляла меня все больше, унося все выше и позволяя без малейшего страха рухнуть вниз, повторять фигуры высшего юридического пилотажа в формулах никогда не произнесенного судебного приговора, ибо кто врать не смеет, летать не может.

– Куда вы едете? – спросил меня старик, и я, не раздумывая ни секунды, на том же кураже, словно вынося приговор следующему мюзиклу, рассказала ему всё, – о польском городе, откуда мои предки сотню лет назад переехали в Варшаву, чтобы потом отправиться еще дальше на восток, возможно, лишь затем, чтобы оставить мне в наследство русский язык, который я, в свою очередь, столь расточительно никому не передам, словом, *dead end*<sup>5</sup> и точка, полный тупик, вот потому мне туда и надо, продолжала я, туда, в один из древнейших городов Польши, где они, предки мои, о которых мне ничего, нет, честно, вообще ничего не известно, два, три, а то и четыре столетия обитали, может, вообще с пятнадцатого века, когда евреи в этом маленьком польском городке получили так называемые гарантии и были признаны соседями, хотя и продолжали оставаться «другими».

– And you?<sup>6</sup> – спросил Сэм, и я ответила, что я-то скорей по чистой случайности еврейка.

– Мы тоже на этот поезд, – сообщил Сэм, чуть помедлив, – тоже на «Варшавский экспресс».

На этот поезд, гордый, как породистый скакун, что уже выплывает к нам из тумана, поезд-экспресс, который помчится хоть и по расписанию, подумалось мне, но против хода времен, в лихолетье, где бомбам такое раздолье, *for us only*<sup>7</sup>, и старик едет туда же, ведь его жена одержима прошлым, а именно ищет мир своей бабушки, что родом из крохотной белорусской деревушки под Бяла Подляска, откуда она перебралась в США, и все равно штаты для него не родина, и для жены тоже, хотя когда это было, сто лет назад, и сколько поколений прошло, да и языка ни он, ни она не знают, и все равно эта Бяла Подляска звучит для него как *forgotten lullaby*<sup>8</sup>, бог знает почему, ключ к сердцу, сказал он, и деревушка называется Янув Подляский, и жили там тогда почти сплошь одни евреи, теперь-то нет, теперь только другие, и вот они оба едут туда, просто взглянуть, и – он и правда то и дело повторял это «и», словно спотыкаясь о незримое препятствие, – там, конечно, ничего не осталось, «конечно» и «ничего» он произнес с нажимом, как бы подчеркивая бессмысленность своего путешествия, и я в тон ему тоже теперь повторяла «конечно» и даже «разумеется», словно само это исчезновение, само это «ничего», конечно же, естественно и разумеется само собой. Но ландшафт, сами названия мест, конный завод чистокровных арабских лошадей, основанный в начале девятнадца-

---

<sup>5</sup> Тупик (англ.).

<sup>6</sup> А вы? (англ.)

<sup>7</sup> Только для нас (англ.).

<sup>8</sup> Забытая колыбельная (англ.).

того века, после Наполеоновских войн, и славящийся среди коневодов, – все это ведь еще осталось, рассказывали они мне, они в гугле посмотрели. Там одна лошадь не меньше миллиона долларов стоит, сам Майк Джаггер там на одном из аукционов побывал, лошадей смотрел, а его ударник сразу трех купил, а теперь вот они туда поедут, это всего в пяти километрах от белорусской границы, слава тебе, гугл. Там и кладбище для лошадей имеется, нет, еврейское кладбище не сохранилось, даже это в интернете можно найти.

I'm a Jew from Teheran<sup>9</sup>, сообщил старик, когда мы еще на перроне стояли, Самюэль – это мое новое имя. Я в Нью-Йорк из Тегерана перебрался, арамейский знаю, много чему в жизни учился и со своей скрипкой много где побывал. Вообще-то, его в Америку послали на ядерного физика учиться, но он сразу же в консерваторию подался, однако на вступительных провалился, так и стал банковским служащим, впрочем, теперь и это в прошлом.

Пятьдесят лет прошло, посетовала его жена, – это когда мы уже в вагоне сидели и металлическая радуга с призывом *Бомбардир-добро-пожаловать-в-Берлин* больше не давила нам на плечи, – пятьдесят лет прошло, вздохнула она, но что бы он ни играл, хоть Брамса, хоть Вивальди, хоть Баха, все звучит по-ирански. А он сказал, это, мол, судьба, что они меня встретили и что я похожа на иранских женщин его детства, он, кажется, даже хотел сказать «на иранских матерей», а может, даже просто «на мою маму», но сдержался, только добавил, что это, не иначе, перст судьбы, ведь в исследовании семейных корней у меня наверняка гораздо больше опыта, чем у них, а мы вот оказались в одном поезде, и цель у нас, по сути, одна, – если, конечно, возразила я, тягу к поискам исчезнувшего вообще можно назвать целью. И нет, никакая эта не судьба, продолжила я, ибо всеведущий гугл над нами все равно что бог, и он не дремлет, и, стоит нам начать что-то искать, он при малейшей возможности будет нам это подсовывать точь-в-точь как все остальное: если вы, допустим, в интернете принтер приобрели, он еще долго будет вам принтеры предлагать, а если школьный ранец покупали, у вас еще годы спустя реклама ранцев будет всплывать, не говоря уже о сайтах знакомств, а если про самого себя гугл запросить, рано или поздно даже однофамильцы исчезнут, останетесь only you<sup>10</sup>, это все равно как если бы вы ногу вывихнули, захромали и тут же все вокруг хромать начали, весь город хромает, вроде как из солидарности, миллионы хромоногих, они образуют социальную группу, чуть ли не большинство, и как прикажете в этих условиях функционировать демократии, если получаешь только то, что уже когда-то искал, и сам оказываешься только тем, что ищешь, и ни мгновения не чувствуешь себя в одиночестве, ты в одиночестве всегда – и ни единой секунды, хоть и безмалейшей надежды повстречать другого, и в поисках точно так же – встречаешь только себя, господь нагугливает наши пути, следя, чтобы мы не выпадали из колеи, мне то и дело встречаются люди, ищущие то же, что и я, сказала я, поэтому мы здесь и встретились, на что старик заметил, дескать, это и есть судьба. Похоже, в экзегезе он продвинулся дальше меня.

И тут мне вспомнился мюзикл, который сколько-то лет назад и вправду произвел здесь фурор, ко-гда в городе со всех рекламных щитов на вас кричало только название «Les Misérables»<sup>11</sup>, только название и больше ничего, без пояснений и иначе, чем нарекли экранизацию одноименной книги в немецком прокате, там это были «Невольники судьбы». Получалось, мюзикл обращается к каждому, каждого называет отверженным, словно каждый ежесекундно нуждается в утешении – «ах ты горемыка, отверженный мой», – или дает понять, что не ты один, все мы соединимся в отверженности, ведь перед этими гигантскими буквами, перед этим чудовищным пустырем в самом центре города все мы одиноки, все – отверженные, не только

---

<sup>9</sup> Я из тегеранских евреев (англ.).

<sup>10</sup> Только вы (англ.).

<sup>11</sup> «Отверженные» (франц.).

другие, но и я. Вот так буквы лозунга под сводами вокзала заполняли нас своим эхом, словно мощные аккорды органа под куполом церкви, и никому, никому не было от них спасения.

Ну а потом я и в самом деле прибегла к услугам гугла, и оказалось, что «Бомбардье» – одна из крупнейших в мире машино- и авиастроительных компаний, и этот Бомбардье, сопроводивший нас своим напутствием, как выяснилось, недавно запустил рекламную кампанию под лозунгом «Bombardier Your City». Скорость и надежность. И вот, осененные его благословением, мы мчимся в «Варшавском экспрессе» из Берлина в Польшу, среди шторок и салфеточек с фирменной эмблемой «WARS», нет, это не английское слово «войны», а сокращение, подразумевающее Варшаву, безобидное и старомодное, как «Star Wars»<sup>12</sup> и прочие войны непредсказуемо далекого будущего.

---

<sup>12</sup> «Звездные войны» (англ.) – название знаменитой киноэпопеи, начало которой положено в 70-е гг. XX в. фильмами американского режиссера Джорджа Лукаса.

## Глава первая. Весьма типичная история

### Семейное древо

*На севере диком стоит одиноко  
на горной вершине сосна.*

*Генрих Гейне*

Поначалу я думала, что родословное древо – это вроде новогодней елки, с украшениями и игрушками из старых картонных коробок: какие-то из шаров – они ведь особенно хрупкие – давно побились, зато иные ангелочки хоть и уродцы, но прочные, пережили все переезды. Как бы там ни было, новогодняя елка – единственное семейное древо, какое мы знали: она покупалась к каждому Новому году, чтобы потом, накануне моего дня рождения, отправиться на помойку.

А еще я думала: достаточно будет просто рассказать о людях, случайно оказавшихся моими родственниками, – и весь двадцатый век у тебя в кармане. Иные из представителей моего семейства рождены были и прожили в святой, хоть и неизреченной вере, что им предназначено исправить наш мир. Другие будто с неба свалились, не пускали корней, болтались туда-сюда, почти не касаясь земли, повисая в воздухе вопросительными знаками, такими застрявшими в кроне дерева парашютистами. У меня в родне кого только не было, самонадеянно думала я, – даже сельхозработник отыскался, учителей вообще полно, и провокатор был, и физик, и лирик, а главное – легенд не счесть.

Итак, имелись:

революционер, примкнувший к большевикам и в подполье – совершенно официально – сменивший фамилию, которую все мы теперь уже почти сто лет носим

рабочие, трудившиеся на обувной фабрике в Одессе, о которых ничего больше не известно

физик, руководивший экспериментальным заводом реактивных двигателей в Харькове и сгинувший в пору чисток, причем приговор ему было поручено вынести шурина – верность партии проверялась готовностью принести в жертву ближнего своего

герой войны по имени Гертруд, муж моей тети Лиды, родившийся во времена, когда страна объявила труд самоцелью, чтобы каждый работал много, потом еще больше, а потом еще, потому что передовики перевыполняли нормы, а труд – главное достояние нации победившего пролетариата, вот так и вышло, что мой будущий дядя при рождении удостоился имени Герой Труда, сокращенно Гертруд

еще были Арнольд, Озиель, или Озилий, Зигмунд, Миша, Мария, Кажется Эстер, кажется, еще и вторая Эстер и госпожа Зискинд, глухонемая ученица Озиеля, обшивавшая весь город

много учителей, которые основали сиротские дома по всей Европе и обучали там глухонемых детей

Анна и Лёля, что лежат в Бабьем Яру, и все остальные, кто лежит там же

человек-фантом Иуда Штерн, мой двоюродный дед

павлин, которого мои дедушка и бабушка купили для глухонемых детей красоты ради

Роза и Маргарита, мои «цветочные» бабушки

Маргарите рекомендацию в партию в 1923 году давал сам Молотов, в будущем советский министр иностранных дел, – об этом любили упоминать, желая подчеркнуть, что наша семья всегда была в центре событий

моя бабушка Роза, обладательница самого красивого имени среди всех женщин-логопедов, Розалия Озилиевна, прождавшая своего мужа дольше, чем Пенелопа

мой дедушка Василий, ушедший на войну и лишь сорок один год спустя вернувшийся к моей бабушке Розе. Она так никогда и не простила ему этих долгих странствий, хотя – среди наших всегда найдется кто-то, кто вставит это «хотя», – так вот, хотя, вякает этот кто-то, они целовались прямо у киоска возле метро, а ведь обоим уже за семьдесят было, отель «Турист» тогда только-только построили, хотя, опять-таки возражает моя мама, дедушка тогда уже из квартиры не выходил и отель «Турист» построили позже

другой мой дедушка, революционер, который не только свою фамилию сменил, но и своей матери в советской анкете новое имя-отчество вынужден был придумывать, в соответствии с запросами трудовой эпохи и своими литературными пристрастиями, покуда Анну Аркадьевну не припомнил, так Каренину звали, которая и сделалась, таким образом, моей прабабкой

Мы были счастливы, и все во мне противилось фразе, которую оставил нам в наследство Лев Толстой, – мол, все счастливые семьи счастливы одинаково и только несчастные несчастливы по-своему, – фраза эта заманивает нас в ловушку, пробуждая влечение к несчастью, словно только о несчастье и стоит говорить, тогда как счастье – всего лишь звук пустой.

## Отрицательные числа

Мой старший брат объяснял мне отрицательные числа, рассказывал про черные дыры, – чтобы приобщить к особому *modus vivendi*. Он создал для себя параллельную вселенную, где был и остается недостижимым, теперь уже навсегда, а мне оставил отрицательные числа – единственную двоюродную сестру, про которую мне хоть и было известно, но которую я почти совсем не видела, а точнее, видела еще реже, чем ее мать Лиду, старшую сестру моей мамы. Мой строгий дядя, старший брат отца, во время своих редких визитов в Киев донимал меня задачками по физике на тему *perpetuum mobile*, словно вечное движение должно затушевывать его отсутствие в нашей жизни. Обе мои бабушки жили с нами, но были, что называется, уже не вполне в себе: я была еще маленькая, когда они вступили в полный расцвет старческой немощи. У других детей бабушки пекли пирожки и плюшки, вязали теплые кофты и веселые пестрые шапочки, а некоторые – даже носки, носки – это же вершина вязания, *высший пилотаж*, как у нас принято было говорить... Эти другие бабушки водили детей в школу и на музыку, они же потом их забирали, а летом, перебравшись за город, терпеливо дожидались внуков и внучек на дачах и садовых участках. Мои бабушки жили с нами на седьмом этаже, и там, в бетоне, все никак не могли пустить корни. У обеих были цветочные имена, и я втихомолку верила, что малышки перед нашей четырнадцатизэтажной башней вступили с моими бабушками, Розой и Маргаритой, в тайный сговор и помогают им вернуться в растительное существование.

У них, выражаясь по-русски, были «не все дома» – немцы в таких случаях тонко намекают, что у кого-то «не все чашки в комод». У нас же напрямик спрашивали: у тебя что, не все дома? И я всегда пугалась этого вопроса, хотя мои-то бабушки как раз почти всегда были дома, вероятно, чтобы защитить меня и уберечь, но меня это «не все дома», а может, просто эти «все» повергали в тревогу, словно другие, посторонние, что-то про нас знают, что-то такое, про что взрослые мне не рассказывают, словно им, посторонним, точно известно, кого или чего у нас дома недостает.

Иногда я думала, будто и сама это знаю. Двое из моих дедушек-бабушек родились еще в девятнадцатом веке, и мне казалось, в круговерти времен какое-то поколение пропало, сгинуло, как будто время через него перескочило, вот и получилось, что их нет дома, ведь у иных моих друзей-подружек даже прабабушки и прадедушки были моложе моих дедушек-бабушек, и я, выходит, за два поколения должна отдуваться и всё расхлебывать. Во внучатом поколении я ведь самая младшая была. Я вообще была самая младшая.

Вот так, без предупреждения, вошло в мой прежде безоблачный, радостный мир чувство утраты, вошло и нависло, раскинув крыла, окутав тьмой, не давая дышать – и всё из-за этого, быть может, даже несуществующего отсутствия. Иногда это чувство поражало меня как молния, как обморок, – у меня вдруг земля уходила из-под ног, и я, задыхаясь, барахталась, хватаясь за воздух, силилась вновь обрести равновесие, сраженная этой незримой, никем не выстреленной пулей, ведь даже «хэнде хох» никто не крикнул.

Эта экзистенциальная гимнастика в борьбе за равновесие казалась мне частью семейного наследия, чем-то вроде безусловного рефлекса. В школе мы продолжали гимнастические упражнения даже на уроках английского: *hands up, to the sides, forward, down*<sup>13</sup>. Мне всегда казалось, что само слово «гимнастика» происходит от «гимна», по-русски оба этих слова с «г» начинаются, и я истово тянула руки вверх, к небосводу, в надежде разорвать невидимую оболочку, тронуть его всегда смеющийся хрусталь.

---

<sup>13</sup> Руки вверх, в стороны, вперед, вниз (англ.).

Среди друзей у многих было еще меньше родственников, чем у меня. У кого-то братьев и сестер не было, у кого-то бабушек, а то и родителей, а еще ведь были дети, что на войне сами отдали жизнь за родину, отважные герои, эти погибшие дети, их ставили нам в пример, превращали в кумиров, они были с нами всегда, неотступно. Их имена нам нельзя было забывать даже во сне, хоть они и ушли из жизни за много лет до нашего рождения, но в ту пору у нас ведь еще не было никакого «тогда», только «ныне», где потери былой войны должны обернуться неиссякаемым источником счастья, ведь мы, втолковывали нам, живем только потому, что они умерли за нас, а значит, мы у них в долгу и должны быть им благодарны за мирную нормальную жизнь и вообще за всё. Я росла не в людоедские, а уже в вегетарианские времена, – как сказала Ахматова, а мы потом повторяли, – и все наши утраты мы списывали на войну, про которую так и говорили – «война», без всяких там добавок и пояснений, в русском ведь так и так артиклей нет, но нам и не требовалось уточнять, какая именно война, мы-то все думали, что война только одна и есть – ошибочно, как оказалось, – ибо именно в пору нашего счастливого детства государство наше вело уже другую войну, где-то на чужеземном юге, войну, как нам объясняли, за нашу безопасность, за свободу других людей, войну, которую, невзирая на каждодневные боевые потери, нам не полагалось замечать, и я тоже ее не замечала, покуда, когда мне было десять, не увидела перед нашей башней-многоэтажкой цинковый гроб с останками девятнадцатилетнего соседа, парня, которого я и тогда уже не помнила в лицо, зато лицо его матери помню и поныне.

Мне вроде не с чего было страдать. И все-таки я страдала, сызмальства, хоть была счастлива и любима, и друзей полно, даже и страдать как-то неловко, но я снова и снова страдала от этого своего неизбывного, иной раз пронзительного, иной раз полынно-горького одиночества, и мне казалось, это все только оттого, что мне чего-то в жизни недостает. Чаемое пышное торжество, праздничное видение большой семьи за длинным столом преследовало меня с непреклонностью ритуала и неотвязностью наваждения.

И это притом, что гостиная наша никогда не пустовала – друзья отца, разные поколения учеников моей матери, дюжинами, уже взрослые, но все равно сохранившие ей верность, – все они запросто сживали за нашим семейным столом, и мы фотографировались на память, как это принято было в семьях, все сплошь радостные, чуть ярче обычного освещенные лица на фоне темных, в цветах, занавесок, все как один глядя в объектив за длинным, празднично накрытым столом. Не помню точно, когда в черед этих шумных, преувеличенно бурных домашних празднеств я впервые уловила некий едва различимый диссонанс.

Для перечисления членов нашей семьи хватило бы пальцев обеих рук. Мне не приходилось разучивать гаммы родственников – тетья, дядя, кузина, двоюродная тетья, двоюродный дядя, опять же кузина, двоюродный дедушка, – меня вообще всегда отпугивало пианино, агрессивно, без единой бреши, сомкнутый строй его клавиш.

В другие времена, еще до эпохи празднеств за нашим длинным столом, большая семья была проклятием, ибо в родне всегда могли сыскаться белогвардейцы, саботажники, дворяне, кулаки, лица, проживающие за границей, просто «шибко образованные», ну и враги народа и дети врагов народа, а также иные подозрительные элементы, ведь под подозрением были все, вот почему столько семей страдали провалами памяти, лишь бы спастись, хотя помогало это редко, и во времена наших шумных празднеств подобные родственники, если они вообще имелись, по большей части были забыты либо их существование от нас, детей, держали втайне, потому семьи и скукоживались, целые ветви семейного дерева отпадали, родственник клан истаивал на глазах, пока не остался лишь анекдот про однофамильцев: «Вы с ним родственники? – Нет, что вы, даже не однофамильцы!»

## Список

И вот однажды внезапно передо мною предстали мои родственники – те, что остались в далеком прошлом. Невнятно, хотя и радостно, они слали мне свои приветы на языках, что звучали смутно знакомо, и я подумала, что уж теперь-то, с ними, мое семейное древо расцветет во всю крону, все пробелы восполнятся, исцелив во мне чувство утраты, – но они стояли передо мной плотной, хотя и разрозненной толпой, безлико и безъязыко, с пятнами вместо лиц и биографий, словно светляки из прошлого, освещающая толику пространства и времени вокруг себя – две-три улочки, два-три случая, – но сами оставались незримы.

Да, я знала их по именам-фамилиям. Всех этих Леви, которых разбросало по свету еще при жизни, ведь именно так, Леви, звучала фамилия моей прабабушки, ее родителей, а также ее братьев и сестер. Еще я знала, что были Геллеры или Хеллеры – как они на самом деле произносились, точно не известно. О некоем Симоне Геллере я знаю только благодаря одной-единственной газетной заметке, это перевод с идиша, из еврейской газеты, саму газету теперь уже никакими силами не сыскать. Последних Кржевиных, потомков Геллеров, я еще застала, они запомнились прежде всего необычной фамилией, слегка поскрипывающей, как снег под ногами, и хрустящей на зубах, как коврижка, «пфэфферкухен» по-немецки. А еще были Штерны, такую фамилию до двадцати лет носил мой дедушка, и у меня была бы такая же, если бы не победа русской революции, Штернами звались все его многочисленные братья-сестры со всей несметной родней, если она и вправду была столь многочисленна, как я люблю себе воображать.

Мои дальние родственники по фамилии Кржевины и Леви еще в 1940 году, как я только совсем недавно осознала, проживали в Лодзи, Кракове, Калише, Коло, в Вене, Варшаве, Киеве и Париже, а еще в Лионе, как уверяла моя мама. «Руся училась в университете в Вене, а Юзек – в Париже» – эти слова бабушки я запомнила. Кто такие эти Руся и Юзек, я так никогда и не узнала, просто какие-то родственники. Впрочем, может, было как раз наоборот: Руся училась в Париже, а Юзек – в Вене. Еще помню слово «консерватория», но к кому из них именно оно относилось – понятия не имею. И еще одну фразу запомнила: «Юзефу и Русе тоже пришлось драить тротуар зубной щеткой». В Лодзи, Калише, Варшаве они, наверно, были на каникулах, в консерватории занятия еще не начались, вот они и оказались дома, а не в Париже или Вене. Когда я в детстве слышала эти слова, я думала, речь о Швейцарии, тогда у нас в газетах писали, что в Швейцарии все очень чисто, а некоторые граждане будто бы на корточках моют тротуар шампунем, надраивая мостовую небольшими щетками, – и перед моим мысленным взором вся страна погружалась в море мыльных пузырей, сияя невероятной, уму непостижимой чистотой, неважно, эта ли страна или какая другая.

У иных из моих родичей фамилии настолько распространенные, что искать вообще бессмысленно. Это все равно что разыскивать однофамильцев: во всех реестрах они выстроились рядышком, по-соседски, и среди этих сотен присоседившихся обладателей точно таких же фамилий своих не различить, да и не смогла бы я отделять своих от чужих, как зерна от плевел, это же селекция, нет, ни за что, даже само слово... Чем больше обнаруживалось однофамильцев, тем призрачней были шансы отыскать среди них моих родственников, а чем призрачней были шансы, тем яснее становилось мне, что всех, всех поименованных в этих списках следует причислить к своим.

С коллекционерским тщанием собирала я фамилии, везде и всюду разыскивала Кржевиных, Леви, Геллеров или Хеллеров, пока, наконец, в Варшаве, стоя в Полевом кафедральном соборе Войска Польского перед мемориальными списками, что столбиками, мелким шрифтом,

тянулись от стены к стене, перед списками всех убитых в Катynie – почему даже в списках умерших мы первым делом автоматически ищем собственные фамилии? – я не нашла в этих списках Станислава Геллера и именно там, в Катьинской часовне собора, не приобщила к родству со всеми нашими однофамильцами, и с этим Станиславом тоже, как будто и он, и все, кого я еще разыщу, теперь тоже стал членом нашей семьи, как и все Геллеры или Хеллеры, все Кржевины и все Штерны. Да, теперь каждый из Штернов, даже из тех, что на небе – даром что Штерн по-немецки «звезда», – казался мне тайным родичем.

Уже давно, сколько-то лет назад, в Нью-Йорке я листала «Желтые страницы» – старую, потрепанную телефонную книгу. Куда они подевались – братья-сестры моего деда? Куда подевались братья-сестры его отца по фамилии Штерн, которые навсегда исчезли из Одессы, разлетевшись по всему свету? Не их ли потомки поют в «Вельвет Андеграунд»? Или они теперь владеют банком? Преподают в Массачусетсе в знаменитом Технологическом институте – или всё еще трудятся на обувной фабрике? В конце концов, кто-то ведь и там должен работать.

Штернов на этих желтых страницах было не счесть. Восемь убористых листов одних Штернов. Желтых звезд в телефонном справочнике. Неужто каждому звонить, каждого спрашивать? Где вы работали до 1917 года? Бедных родственников с востока часом не дожидаетесь? Все еще, даже сто лет спустя? А знаменитостей мне как, включать в свои списки, или им меня – в свои?

Кто мне рассказывал, что один из наших Леви работал бухгалтером на пуговичной фабрике в Варшаве? А другой Леви придумал «Levis 501», «левайсы 501», лучшие из джинсов, какие я знала, когда только начинала свои поиски. Разумеется, тот Леви уж точно был не из наших, даже вообразить невозможно, чтобы кто-то из наших обладал коммерческой жилкой, был охоч до прибылей и хотя бы смутно понимал, как оные добываются. Продолжая размышлять о пуговичной фабрике в Варшаве или где угодно, я все больше утверждалась в уверенности, что никого из тех, кто остался в Польше, в мой список включить не могу.

Но тут мне припомнился список спасенных, из одного фильма, я его нашла и изучила от и до, как будто кто-то из наших и вправду мог в нем числиться и, значит, спастись, всплыв из глубин интернета. Я перебирала фамилии одну за другой, пристально, словно выигрышные числа в лотерее, будто я и вправду кого-то могу в этих списках опознать.

Ни одного Леви, никого из Кржевиных, но, смотри-ка, нашелся некий Итцак Штерн, тоже бухгалтер, тоже на фабрике, но, правда, в Кракове, значит, не родственник, мои-то Штерны все были в Одессе, если еще раньше, задолго до того, не эмигрировали, ведь они были подпольщиками, готовили и совершали революцию, ну а потом там, в Одессе, для них была только война и никаких списков и никакого спасения. Но, может, несмотря ни на что, мне все-таки включить этого Штерна в свой список, раз уж других Штернов не нашлось? Или это будет вроде как покушение на кражу?

Бывают, как известно, игры без победителей.

Привет, привет, я твой сосед, я работаю на обувной фабрике.  
Недавно шеф зашел в наш цех в начале дня, зовет меня:  
«Ты не филонь, давай-ка тронь ботинок правый рукою левою».  
Я ему – нет, а он в ответ:  
Привет, привет, я твой сосед, я работаю на обувной фабрике.  
Недавно шеф зашел в наш цех в начале дня зовет меня:  
«Ты не филонь, давай-ка тронь ботинок левый рукою правою».

## Рецепт

Понимание того, что люди уходят из жизни, постигло меня внезапно, застало врасплох, накрыло тенью, словно тазик, когда Дон Кихот впервые напялил его на голову вместо шлема, – обыкновенный тазик, в каком столетия спустя моя слепая бабушка варила сливовое повидло. Но это вначале, а потом он годами просто пылился на кухонном буфете.

Когда умерла Лида, старшая сестра моей матери, я поняла, что означает слово «история». Потребность в знании созрела во мне, я готова была бросить вызов ветряным мельницам воспоминаний, – и вдруг она умерла. Оторопев, я стояла, затаив дыхание, со своими приготовленными вопросами, стояла безмолвно, – будь это комикс, мой воздушный пузырь с текстом изо рта так и остался бы пуст. История – это когда вдруг не остается людей, которых можно спросить, есть только источники. Никого из близких, кто мог вспомнить про те времена, у меня больше не было. Все, что мне осталось, – это обрывки воспоминаний, какие-то сомнительные заметки и документы в далеких архивах. Вместо того чтобы вовремя задать вопросы, я поперхнулась словом «история». Можно ли считать, что я стала взрослой оттого, что Лида умерла? Я ощущала только свое бессилие, свою беспомощность перед историей, во власти которой я всецело оказалась.

Единственное, что осталось у меня от тети Лиды, – рецепт кваса, это у нас такой прохладительный и даже живительный напиток. Рецепт этот недавно сам юркнул мне в руки из вороха неоплаченных счетов, словно я еще и ей, Лиде, что-то успела задолжать. Тетю Лиду, или просто Лиду, как мы все ее называли, ту самую Лиду, которая после войны слыла первой красавицей, античной богиней всего Киевского пединститута, Лиду с факультета дефектологии, как у нас все еще именуется лечебная педагогика, Лиду, которая с фотографий тех времен смотрит спокойно, слегка отрешенно и чуточку свысока, эту Лиду я запомнила шаркающим существом в переднике, которая, годами не произнося ни слова, подавала на стол одно кушанье за другим, снуя из кухни и на кухню с очередной, с золотой каемочкой, тарелкой в руках. Ешьте! Она была последней в нашем роду, кто обучал глухонемых детей, она еще владела тайной и имела терпение, а потом только безмолвно стряпала, и вот ее не стало.

Долгое время я вообще не понимала, что означают эти буквы – ЕВР. КВАС, крупно выведенные на листке сверху, я смотрела на это ЕВР., которое с тем же успехом могло обозначать и ЕВРОПЕЙСКИЙ, еврейский и европейский как синонимы, – милая, невинная утопия, подброшенная русской орфографией, *urbi et orbi* моей тетушки, как если бы ЕВРОПА и ЕВРЕИ были словами одного корня, и здесь, с листка этого рецепта, красноречивым лаконизмом аббревиатуры подтверждали живительную гипотезу, будто все евреи, включая тех, кто уже и евреями-то не были, имеют право считаться последними европейцами, в конце концов все, что составляет самую суть Европы, ими прочитано. Или, может, тетя просто не хотела целиком писать слово «еврейский», неполнота написания оставляла лазейки для других толкований, к примеру, что напиток еврейский не совсем, а лишь слегка, самую малость, даже невзирая на чеснок.

На проверку рецепт оказался чем-то вроде зашифрованного поэтического послания. Вообще, я никогда не замечала в своей тете ничего еврейского, да в ней ничего такого и не было, – только вот блюда, которые она готовила, я лишь после ее смерти смогла классифицировать по национальной принадлежности и лишь тогда поняла, что именно она, которая никогда ничего общего не желала иметь со всей той болью, когда при одном слове «еврей» на ум тотчас приходят общие могилы, массовые захоронения, и потому она, которая, покуда жила, еврейкой быть не хотела, – именно она переняла от своих еврейских бабушек смак и сочность национальной кухни, обучившись многому из того, чего ее мать не знала и не умела. Правда,

для тети Лиды фаршированная рыба, штрудель, форшмак сделались уже блюдами украинской кухни.

*Берешь:*

*Большой пучок салата*

*Большую головку чеснока*

*Большую связку укропа*

*(Тут одной строчки не хватает)*

*Кипятишь воду и даешь ей остыть до комнатной температуры*

*Моешь салат, отрезаешь корешки и стебли, потом все мелко режешь и очищаешь чеснок*

Послание явно адресовано мне. Кто вообще пишет рецепты в форме обращения, да еще с легким налетом патетики?

*Укроп моешь и нарезаешь*

*Все это перемешиваешь и укладываешь в трехлитровую стеклянную банку.*

К кому обращалась тетья Лида – только ли ко мне или ко всем людям на свете?

Трехлитровая банка смутила меня еще больше. Ибо между кухней здесь и кухней там с ее трехлитровыми банками для солений, марлей для процеживания и чугунными сковородками пролегли целые поколения утвари. Где в Берлине прикажете купить марлю? Нет у нас здесь ни мелких тряпок-прихваток, ни вылинявших полотенец, ни марли, ни медных тазиков и деревянных ложек для повидла – всего, что там было куплено когда-то давным-давно, а на вопрос «когда» тебе отвечали: «после войны».



Она все утаила, все унесла с собой – и вместе с ней исчезли и все ее штрудели, и фаршированная рыба, и ее сладкие колбаски с изюмом, ее печенье – и то, что с черносливом, и то, что на меду, с орехами и лимоном, да и само слово «цимес» она забрала с собой, как будто все это и вправду должно оставаться тайной. Да, она все замалчивала – и свою былую красоту, и свою начитанность, замалчивала все, целиком посвятив себя мужу, герою войны, семь раз простреленному, одному из самых красивых героев, замалчивала, снуя на кухню и из кухни, свои заботы и болезни свои, свои преподавательские методы, свою усугубляющуюся глухоту, замалчивала дни рождения умерших и дни рождения убиенных, которые отмечала десятилетиями, одна, втихомолку, замалчивала и другие даты, хотя помнила всё, вся и всех, с кем соприкоснулась в жизни, замалчивала войну и все, что «до» и «после», все поезда и города своей жизни, всю скорбь по отцу, который войну пережил, но в семью не вернулся и много позже стал жить в доме по соседству, годами жил рядом, в одной из наших безликих блочных девятиэтажек, везде одинаковых советских новостроек.

Повзрослев, а потом и состарившись, она все еще ждала, пока не поняла, что глохнет, и тогда онемела, как бы вернувшись к своим глухонемым воспитанникам, которых учила всю жизнь, и будь это возможно, она замолчала бы, скрыла бы и свою смерть. А я ни о чем ее не спросила, и теперь спрашиваю себя, как же так, почему я столь абсолютно, столь окончательно и бесповоротно ее упустила, ее и ее жизнь, как будто с самого начала, заранее, согласившись с ее глухонемой, с ее ролью жены-сиделки и безропотным служением. Чем я вообще занималась в то время, в те годы, когда она могла одарить меня всем, включая, к примеру, рецепт ЕВР. КВАСА, меня и всю Европу?

## Perpetuum mobile

Абстрактное мышление – не мой конек, шутил дядя Виля, старший брат отца, когда я толковала ему про потери на трение. Приезжая к нам, он любил проверять мои знания, задавая самые каверзные задачки – про египетские треугольники, про модель вечного двигателя – с таким видом, будто, если я их решу, мне откроются бог весть какие важные истины. Только задачки дяди Вили мне никогда решить не удавалось.

Сам же он являл собой классический продукт советского метемпсихоза, преобразования и обмена энергиями между государством, душой и машиной, этого вечного движения моей отчизны. Виля родился в 1924-м, восемь месяцев спустя после смерти Ленина, когда вся страна все еще выражала свою скорбь в переименовании городов и сел, деревень и заводов: Ленин жив, его именем вращаются турбины электростанций, скажешь «лампочка Ильича» – и вспыхнет свет. Вот мои дедушка с бабушкой и назвали своего первенца Вилей, инициалами покойного Владимира Ильича Ленина, который считался дедушкой всех советских детей, – внуков у него было полным-полно, хотя своих детей не было. Еще и полвека спустя все мы оставались его внуками и говорили «дедушка Ленин», – у нас ведь все пребывало в движении, все, только не время.

Нас окружали сказочные существа, химерами кишели кругом все эти рабфаки, облмортресты, комсомол, молококоопсоюз, сокращению, сливаясь до полной невнятицы, подвергалось всё и вся – моссельпром, наркомпрос или Чека, самый стойкий долгожитель, превращавшийся по ходу дела в ГПУ, НКВД, КГБ и, наконец, в ФСБ. Среди моих знакомых числилась некая Нинель, палиндром от Ленина, имелся и Рем, сын почитателей Троцкого, чье имя происходит от мировой революции, РЕволюцияМировая, встречался и Рой (Революция – Октябрь – Интернационал), была и очень милая Сталина.

Возможно, выбор имени был отчасти связан и с тем, что его родители еще знали идиш, в Виле им брезжило немецко-еврейское Wille (воля), и в самом деле, никто в нашей семье не мог бы тягаться с Вилей в целеустремленности, он постоянно работал над повышением своего КПД, и даже власти ему в этом подыгрывали. Когда в 1940-м, в шестнадцать лет, он получал в Киеве паспорт, в пятой графе (национальность) у него значилось «русский», хотя оба родителя по паспортам были евреи. Белокурый, голубоглазый, широк в плечах, узок в поясе, Виля и вправду выглядел этаким славным Иванушкой из русских сказок. Вследствие каких таких математических операций от двух евреев образовался один русский, причем не при рождении, а вследствие посещения паспортного стола, так и осталось тайной, но в результате Виля, как все мы его называли, сделался полноценным русским, без всяких отягчающих еврейских примесей. Истинное его происхождение стало пустячным придатком, не стоящей упоминания мелочью, тем паче что и вспоминать-то было особо не о чем, главное – будущее, ведь мир велик, а наука бесконечна.

Младший брат Вили, мой отец Мирон, родившись на восемь лет позже, был назван в честь деда, только переименован на русский лад из Меира и в паспорте значился евреем. Поскольку и для него еврейства не существовало, Мирон тоже обрусел, став гражданином самой читающей страны в мире. На свое происхождение он оглядывался с уважительной задумчивостью, хотя и не без удивления, мол, к нему-то все это какое имеет касательство.

Весь Советский Союз воевал с силой тяготения и мечтал о полетах, вот и наш Виля хотел строить самолеты, у него даже тело было какое-то аэродинамическое, достаточно компактное и подвижное, чтобы без потерь на трение идти по жизни. Да, Виля, казалось, создан из гимна

советских Военно-воздушных сил, который все тогда распевали: *мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор, нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор.* И мое сердце тоже начинало биться сильнее и как бы устремлялось ввысь, когда я этот гимн слушала пятьдесят лет спустя, особенно на строчках припева: *всё выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ.*

В восемнадцать Виля пошел на фронт, вместе со всем своим классом, их всех засунули в шинели и послали на передовую, мальчишек, не имеющих ни малейшего представления о войне, только о геройстве. По прибытии на Кавказ, в Моздок, их, новобранцев, сразу бросили под перекрестный огонь штурмовать противотанковый ров. Когда они заполнили этот ров своими телами, танки по ним и проехали. Виля никогда родителям не рассказывал, что именно он там, под Моздоком, пережил, единственный, кто об этом узнал, был его младший, тогда одиннадцатилетний брат Мирон, который, возможно даже вместо самого Виля, запомнил и сохранил это знание навсегда.

Когда в этом рву стали искать живых, случайно наткнулись на Виля. Он лежал на самом дне, почти расплющенный, раненный в пах. Чудо, что там вообще кого-то искали, добавил отец.

С тяжелой контузией и травматической эпилепсией Виля восемь месяцев провалялся в госпиталях. Семью свою разыскал в Ашхабаде, в тысячах километрах от Кавказа. Инвалид войны, он, однако, и не думал считаться со своей болезнью, напротив, сделал ее подспорьем и в свои девятнадцать лет, оказавшись руководителем комитета физкультуры и спорта Туркменистана, стал самым молодым в СССР министром.

Учебу в институте ему неоднократно приходилось прерывать, эпилептические приступы лишали его сил на недели. Во время приступа надо было прижимать ему язык, чтобы он не задохнулся, мой отец снова и снова про этот язык вспоминал, всякий раз как бы собственным словам удивляясь. Но как же мог Виля после этого рва все еще в Советский Союз верить, спросила я у отца, и тот ответил: кто сомневался – тот точно погибал.

В конце концов он закончил мехмат в Ленинграде, променяв воздух на воду и став гидроакустиком. Ему предстояло решать в принципе те же задачи, что и в аэродинамике, с той лишь разницей, что сопротивление воды гораздо сильнее сопротивления воздуха. Виля совершенствовал подводные лодки – чтобы они всё вокруг могли слышать, а сами, гладкие, обтекаемые, избегая малейшего трения, оставались неслышными, таясь в глубинах.

Он работал непрестанно, не щадя сил на свою светозарную науку, исследуя звуковое поле и его ингерентные (неотъемлемо ему присущие) процессы, гидродинамические проблемы турбулентных шумов и нестационарные задачи акустики. И даже юмор свой поставил на службу диалектическому мышлению, своему *perpetuum mobile*. Во имя мира для нас он работал на войну, но сам называл это паритетом сил, как будто и здесь речь только о механике.

Точно так же, как Виля, я тоже, валентной частицей государственной жизни имея отношение к ее вождям, родилась через сто лет после Ленина. И праздновала дни рождения вместе с Лениным, только минус сто лет. Я знала, это всегда будет мне подспорьем, помогая определить мои координаты в мировой истории, однако энергия молодого поднимающегося государства, дарованная при рождении моему дяде, давно иссякла. И я, впадая в отчаяние над его задачами про *perpetuum mobile*, всеми фибрами ощущала дядину чуждость. Он ведь знал, что мне эти задачки ни в жизнь не решить. Найдись для них решение – быть может, и отпали бы все перегородки, все дистанции между нами, а с ними и нехватка тепла, близости, сомнений, а возможно, и чувства родства, ведь в задачках Вили все человеческое оказывалось только потереями на трение, помехой вечному движению тайных энергий, заветной дядиной мечте. Может,

дядя Виля, говоря, что «абстрактное мышление не твой конек!», вовсе и не шутил тогда, а как бы вверял мне поле исследования потерь на трение – вместо самого себя.

## Соседи

Большую часть моего киевского детства я прожила в новой двухкорпусной четырнадцатизэтажной башне на левом берегу Днепра, в районе, возникшем уже после войны и, казалось, вовсе не имевшем прошлого, только ничем не омраченное будущее. Хотя и считалось, что «никто не забыт и ничто не забыто», как написала Ольга Берггольц в память о миллионе жертв ленинградской блокады. Эти слова полагалось носить в сердце, они по всей стране заменяли нам память, от них было не уйти, ибо они оказались пророческими во всей своей очевидной правоте, но и своей скрытой ложью, ведь нас призывали не забывать никого и ничего, чтобы мы тем легче забывали всех, кто забыт, и все, что забыто. Вот мы и играли во дворе, помимо «классиков» и «выбивного», в войну, где «наши» непрерывно сражались против «фашистов», что-то вроде «казаков-разбойников», через тридцать пять лет после войны.

Улица наша называлась улицей Флоренции, в честь прекрасного итальянского города-побратима, и все мы, там проживавшие, были счастливы, ибо в наших адресах не только запечатлена была красота Италии, но явлена и наша принадлежность к миру красоты, а значит, каждому жителю улицы разрешалось и быть красивым, и воспитываться в духе Ренессанса, становясь человеком новых времен, центром мироздания, хоть и за железным занавесом. Улицу Флоренции торжественно открыли в 1975 году, по такому случаю именно на нашем доме укрепив мемориальную доску. Потому что дом был ведомственный, Совета министров, сокращенно Совмина, как у нас принято было говорить, и рядом с унылыми бетонными девятиэтажками казарменных советских новостроек, что окружали наш двор, наш совминовский кирпичный дом казался дворцом. Хотя министров среди жильцов, конечно же, не было, тут жили чиновники среднего звена, мелкие начальники, винтики госаппарата, а еще учительницы со своими зачитанными домашними библиотеками, уборщицы, кухарки, секретарши, электрики, инженеры. За какие такие заслуги мы получили квартиру в этом социалистическом раю – четыре комнаты с встроенными шкафами, нишей для холодильника, двумя лоджиями и антресолями, – мы так никогда и не узнали. В первые же недели отец нос к носу столкнулся в лифте с офицером КГБ, который сколько-то лет назад его допрашивал, и принес домой новую вариацию английской поговорки «My home is my castle»<sup>14</sup>. «Мой дом – их крепость», – буркнул он.

А вскоре в наш дом заселились семьи сотрудников американского консульства, и как-то раз, в День независимости, они вывесили на своих балконах американские флаги, словно покорив нашу крепость. Когда в 1977 году в Киев прибыла нарядная, пестрая и громогласная футбольная команда из Флоренции, нашу улицу открыли вторично, хотя мы давно уже там жили, и итальянцы, к вящему своему изумлению, обнаружили нас в нашей киевской Флоренции, словно каких-нибудь индейцев, повстречавшихся первооткрывателям Америки, – смотри-ка, вот так новость, здесь, оказывается, тоже люди живут! А мемориальную доску с одной стены нашего дома торжественно перевесили на другую.

В доме было много женщин, родившихся в деревне и только в молодости переехавших в город. По мере старения они все больше забывали свой наскоро выученный, так и не укоренившийся в них русский, возвращаясь в лоно родной, певучей, ласковой и теплой украинской речи. Выйдя на пенсию, они доставали свои цветастые косынки, повязывая по-деревенски, под подбородком, словно никогда и не снимали, собирались внизу на скамеечке у подъезда четырнадцатизэтажной громады и, лузгая семечки, обменивались свежими сплетнями. Один из немногих стариков, что жили в нашем доме, – мужчины умирали на десятилетия раньше женщин, – сидя где-то на самом верху, на балконе, играл на гармошке народные песни, и эти

<sup>14</sup> «Мой дом – моя крепость» (англ.).

щемящие мелодии разносились над привилегированными просторами двора, сопровождая все наши пути-дороги.

Из соседей я знала мало кого, да и то не близко, – к примеру, супружескую пару, очаровательную женщину и ее мужа, военного врача, неизменно приветливых и степенных. У них была дочка, про которую мы не знали, что и подумать, и подходить боялись, ведь о синдроме Дауна мы тогда понятия не имели. Таких детей тогда в семьях не оставляли, может, это даже запрещено было, но никто во всем нашем доме не позволял себе судачить на сей счет, то ли из страха, то ли из почтительного восхищения. Мама рассказала мне, что эта красивая женщина – одна из сирот республиканской Испании, которых в тридцатые годы, во время Гражданской войны, вывезли в братский Советский Союз.

И еще двоих соседей я знала, оба родились в военном 1941 году: осиротевший в войну Сергей из Осетии и Вадим, выросший среди партизан в Полесье. В другом крыле жил Борис, разговорчивый мужчина не-определенного возраста, неизменно бодрый и готовый помочь, единственный, кому в 1941 году в еврейском местечке удалось выбраться из общей могилы, когда там убили всех жителей от мала до велика. Лишь много позже я поняла, что жуткий «монстр», с которым все мы, девчонки, на просторах нашего протянувшегося между казенными новостройками двора боялись столкнуться, – мы считали его сумасшедшим, – сын того щедедушного Бориса и, таким образом, вероятно, последний отпрыск исчезнувшего с лица земли еврейского местечка.

Иногда нам присылали письма на адрес «улица Венеции». А дом наш и вправду стоял на берегу канала, что отнюдь не всем отправителям было известно. И письма доходили, потому что в Киеве улицы Венеции не было, так что мы на нашей улице, получалось, как бы за всю Италию в ответе. Должно быть, из-за этой Венеции сны мои иной раз настоящим половодьем заливала вода, но всякий раз, когда она почти достигала моего седьмого этажа, приходило спасение, неизменно в виде золотой гондолы, выплывающей из туманной мглы и только для меня одной. О затопленных соседях снизу я почему-то не думала, во сне они забывались напрочь.

Тремя этажами ниже нас жила одинокая Макаровна, состарившаяся девушка из украинской деревни, в детстве ей удалось пережить коллективизацию, но лишь затем, чтобы потерять в войну и родителей, и жениха. В косынке и домашних тапочках, она годами сидела на скамейке перед нашим подъездом, самая темпераментная, самая языкастая и несчастная из всех, всегда под хмельком, лишь иногда навеселе, но неизменно безрадостная, она раздавала нам, детям, конфеты, почему-то всегда старые, словно они у нее еще с войны, из неприкосновенного запаса. В своей ярко-желтой косынке с пурпурно-зелеными цветами, в темно-синем халате, униформе пенсионерок, с тяжелым взглядом почти бараньих, навывкате, глаз, она казалась мне последним представителем сильного, красивого народа, когда-то поселившегося здесь, на кромке начинающихся украинских степей. Потом она стала дарить мне самые ненужные вещи на свете – вязаные пинетки для младенцев, носовые платки с толстой вышивкой, которые я храню до сих пор, дарила, видимо надеясь в ответ получить деньги, что мне тогда было совершенно невдомек, а время от времени сумбурно, урывками она что-то рассказывала о войне, о своей вымершей семье, о колхозах. Но то ли я, всегда мимоходом, недостаточно внимательно ее слушала, то ли у нее и вправду все советские катастрофы в голове путались, во всяком случае, с датами все время выходили неувязки, семья то ли во время войны погибла, то ли в колхозе в голодомор умерла, а жених то ли так и не вернулся никогда, то ли его и не было вовсе, чего я в глубине души опасалась, но всему виной была война, и это единственное, что, несомненно, было правдой.

## В музее

Я снова хотела наверх, взглянуть на треуголку Наполеона, которую он потерял при Ватерлоо, однако дочка тянула меня на первый этаж, в двадцатое столетие, я пыталась прельстить ее Дюрером и Лютером, но тщетно, она уже вела меня сквозь двадцатые годы, целеустремленно, мимо забастовок, голода и берлинского «золотого века», нет, она шла дальше, шла именно туда, и когда мы стали приближаться к тридцатым, я занервничала, но она стремилась именно туда и уже примкнула к взрослой экскурсии, лучше не надо, пролепетала я, но она меня успокоила и вроде даже утешила, я уже все знаю, мама, и это утешение встревожило меня даже больше, чем ее знание, ей же только одиннадцать. Мы миновали захват власти, запрет объединений, преследование коммунистов, а когда остановились перед таблицей нюрнбергских законов и женщина-экскурсовод (странно все-таки, что в немецком она называется «фюрерин», почти как «фюрер», неужели другого слова не нашлось, ведь она как раз про «фюрера» рассказывает) начала объяснять, кто и сколько процентов, моя дочь громким шепотом спросила меня, «а где здесь мы, мама? где на этой схеме мы?». Вообще-то, правильной было бы задать этот вопрос в прошедшем времени и в сослагательном наклонении, «где были бы на этой схеме мы, если бы тогда жили, жили в этой стране» – если бы мы были евреями и жили тогда здесь. Но мне это неуважительное пренебрежение грамматикой знакомо, я и сама такие вопросы себе задаю, где вот на этой картинке я, – вопросы, которые из мира наших представлений переносят меня в реальность, ибо отказ от сослагательного наклонения превращает наши представления в знание, а вернее, даже в отчет, ты ставишь себя на место другого и катапультируешься туда, к примеру вот в эту таблицу с процентами, вот так я и примеряю на себя каждую историческую роль, словно не было и нет никакого прошлого, никаких тебе «если бы да кабы».

Где здесь мы, где на этой таблице мы, мама? – спросила моя дочь, и я, напуганная такой непосредственностью, надеясь уберечь ребенка от всех этих ужасов, хотела было уже торопливо возразить, мол, нас на этой таблице и быть не может, мы в это время были бы в Киеве или уже в эвакуации, да и вообще еще не родились, к нам эта таблица никакого отношения не имеет, и я уже почти готова была начать гордиться все эти «если бы да кабы», когда мужчина, один из экскурсантов, обернувшись ко мне, сказал: мы вообще-то заплатили.

Еще не поняв толком, что он хотел мне сказать – а именно что экскурсия эта не бесплатная, имея в виду, что и мне тоже следовало бы заплатить, иначе мы, получается, вроде как карманные воришки, и я, и дочка, словно мы эту историю, за которую полагается заплатить злосчастные восемь евро, украли – хотя, благодарю покорно, такую историю я красть не стану, – словом, прежде чем понять, что нам без оплаты ни перед этой таблицей стоять, ни в ней фигурировать никак нельзя, что мы даром, самовольно к их заплатившей группе с запозданием прибились, – прежде чем все это понять или уже мгновенно успев все это подумать, я ощутила на глазах слезы, хоть я и не плакала, нет, это во мне что-то плакало, плакало мною, и мужчину этого тоже что-то во мне оплакивало, хоть ему это и не нужно вовсе, ведь он прав, мы не заплатили, – хотя нет, неправда, заплатили, еще как заплатили, сполна, но всегда найдется кто-то, кто не заплатил.

## Глава вторая. Роза и немые

### Симон, умеющий слушать

*Кто не в силах обрести себя, того бесследно поглотит его род.  
Древняя китайская мудрость*

В семи поколениях, говорила моя мать, двести лет мы обучали глухонемых детей говорить, она всегда говорила это «мы», хотя сама никогда глухонемым детям не преподавала, а преподавала историю, не могла же она не понимать, что преподавать глухонемым и преподавать историю – это разные вещи, даже разные профессии, но в ее устах это «мы» звучало так, будто все мы навсегда обречены этому самоотверженному служению, будто и нашим грядущим поколениям не дозволено избавиться от миссии этого «мы», – долга обучать других, жить ради других, в особенности ради детей. Эти семь поколений звучали в ее устах как заклинание из сказки, будто семи поколений достаточно, чтобы войти в вечность, пробиться к СЛОВУ.

Мы преподавали всегда, говорила моя мама, у нас все были учителями, иного нам просто не дано. Она произносила это с такой убежденностью, словно повторяла столь излюбленные в нашей стране речения вроде «глас вопиющего в пустыне» или «нет пророка в своем отечестве».

Ее сестра, ее мать, ее дед и все дедовы братья и сестры, отец ее деда и отец его отца – все они обучали глухонемых детей, основывали школы и сиротские приюты, жили с этими детьми под одной крышей, деля с ними всё, не зная ни малейшего зазора между профессией и жизнью, эти альтруисты, даже само это слово мама очень любила, эти альтруисты, повторяла она, уверенная, что и она носит в себе это альтруистическое наследие, – тогда как я знала: во мне его уже нет.

Когда мать рассказывала мне, как наши предки разбрелись по всей Европе, основывая школы для глухонемых в Австро-Венгрии, во Франции и в Польше, мне это напоминало некий пассаж из Библии, как я полагала, из Ветхого Завета, но оказалось, что из Нового: Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари – и так далее, все сплошь незнакомые имена. Этот пассаж я знала столь же смутно, как и собственную генеалогию, но мне казалось, что вереница наших предков так же нескончаема и что все они, даже исчезая из поля нашего зрения за горизонтом семейных воспоминаний, обучали глухонемых детей говорить. Слышите их страстный, жаркий шепот?

*Шма, Израэль, утром и вечером, шма, Израэль, слушай Израиль, слушай меня.*

Первый, кого мы знали по имени, звался Шимоном Хеллером, по-русски Симон Геллер. Может, он последовал зову своего еврейского имени, ибо Шимон означает «слышащий», то есть тот, кто услышал Бога и сам был Богом услышан. Первый из учеников, услышавший и послушавшийся Христа, последовав за ним, тоже звался Шимоном, подумалось мне, хоть эта история в глазах моей еврейской родни и не имела ровно никакого значения. Мой Шимон основал школу для глухонемых детей в Вене в первой половине девятнадцатого века. Он научал детей говорить, чтобы люди могли их услышать, иначе среди его единоверцев они считались бы душевнобольными, ибо рассудок и разум, так в те времена полагали, живут и зиждутся в языке, в способности говорить, в разговорной речи. Кого слышат – тот и свой.

За звуком звук, за словом слово день за днем учились они молиться. Я выросла в семье братских народов Советского Союза, где все были равны и все были обязаны учить мой родной язык, правда, не молитвы, но к моему «мы» принадлежали все. Не без гордости жила я в убеждении, что мои предки обучали сирот всех народов. И непростительно долго не могла сообщить, какой, чей язык они преподавали детям. Из своего космополитического настоящего я полагала, будто они обучали глухонемых говорить на всех языках мира, словно глухонемота, как и сиротство, некий чистый лист, то есть свобода освоить любой язык и любую историю. Наше еврейство оставалось для меня глухонемым, а глухонемота – еврейством. Это была моя история, мое происхождение, но это была не я.

*Шма, Израэль, слушай меня, Израэль, только где же ты, Израэль?*

Я пробиралась чашами бумаг, кипами документов, разыскивая сведения о нас в старых источниках и в интернете. Поисковая строка выделяла слово «глухой» желтым цветом, словно гуглу известно, что желтый – цвет еврейства, как известно и мне, что гугл все искомое выделяет ярко-желтым. Каждая история с желтым словом «глухой» становилась кирпичиком моего прошлого, моего интернет-еврейства. Как знать, может, мои предки произошли прямо из Талмуда, из истории про двоих глухонемых, которые, живя по соседству с раввином, каждый день следовали за ним в школу, где он учил, садились с ним рядом, внимательно за ним наблюдали и повторяли движения его губ. Раввин молился за них, и в один прекрасный день выяснилось, что они знают все, что раввин преподавал ученикам своим, они всё усвоили – глазами. Я пыталась вникнуть в каждую из историй с желтой маркировкой слова «глухой», вчитывалась в текст вокруг желтого пятнышка, уповая, что когда-нибудь все эти «глухие» истории вдруг оживут и выпорхнут мне навстречу.

В начале моей семейной истории лежит перевод. В 1864 году писатель и просветитель Файвель Гольдшмидт опубликовал в еврейской газете в Лемберге (по-русски Львов) заметку про Симона Геллера и его школу, выражая восхищение личностью Симона и его деятельностью. Шестьдесят лет спустя Озиель Кржевин, внук Симона, перевел этот текст на русский, а еще через шестьдесят лет моя мать обнаружила этот перевод в одном из киевских архивов вместе с другими документами о школах наших родственников. Но отыскать оригинал на идише, саму эту еврейскую газету со статьей Гольдшмидта, оказалось невозможно. Так что вся известная генеалогия нашей семьи зиждется на сомнительном переводе с отсутствующего оригинала, а теперь вот я рассказываю эту историю по-немецки, и ее русского оригинала тоже никогда не было.

Всегда с карандашом, говорила моя мама, все они учились с карандашом, один конец во рту учителя, другой во рту ученика. В статье Гольдшмидта об этом не говорится, но мама точно знала, она рассказывала про этот карандаш, увлеченная простотой и изобретательностью выдумки, хотя и несколько пугаясь близости ртов. Карандаш двигался, вибрировал, и дети чувствовали, как язык воспроизводит звуки.

«Для всякой, даже самой тяжелой болезни Господь ниспосылает исцеление», – возвышенным слогом переводил Озиель Кржевин статью про своего деда, словно тот один из праведников иудейских. Уже через два года дети умели читать на иврите и по-немецки, а еще – бегло читать по губам, понимая устную речь. Через пять лет ученики Геллера умели разговаривать так, что их речь почти не отличалась от речи людей, наделенных слухом. Они шевелили своими непослушными языками, ворочали тяжеленные камни звуков, ведь их пророк Моисей тоже говорил тяжело и был косноязычен.

Когда Шимон еще был в Вене, как-то раз к нему в школу пришел взрослый мужчина. У него умер отец, а сам он глухонемой и не может молиться. Он хотел научиться полнзвучной молитве, и, когда достиг своей цели, он пошел на кладбище, чтобы прочесть кадиш над могилой своего уже много лет назад умершего отца. Об этом тогда даже газеты писали.

В том переводе Озиель к фамилии Геллер добавил и свою, Кржевин. Хотел подчеркнуть родство? Или эта добавка к фамилии значилась уже в оригинале и была прозвищем, которое Симон снискал в народе? Что означает Кржевин, мне растолковал один польский приятель, – это тот, кто распространяет просвещение, но другой сказал, что krzew по-польски – «куст», а еще «заросли», может, твои Кржевины деревья сажали? Но у евреев ведь земли не было, мелко у меня, им свои деревья в воздухе надо было сажать, а еще мне понравилось, что даже в фамилии моих предков запечатлелся этот неистовый, буйно-растительный порыв к образованию. Я листала «Историю еврейства», шесть томов, «Историю восточного еврейства», два тома, «Историю иудеев», один том, расхаживала вдоль полок «иудаики» в библиотеке.

В многочисленных фолиантах о Вене и ее учреждениях для глухонемых ни одного Симона Геллера не нашлось. В основополагающем томе «Всеобщий австрийско-иудейский институт глухонемых в Вене, 1844–1926» один Симон Геллер упоминается, причем как раз во времена нашего Хеллера или Геллера, однако этот Геллер оказался руководителем института для слепых. Это наверняка он и есть, убежденно заявила дама из архива, в тесном мирке педагогики для инвалидов двух Симонов Геллеров быть не может.

Из Вены школа отправилась странствовать по польской провинции, через Галицию, словно бродячий цирк, они ненадолго останавливались в городах или местечках, штетлах, потом Симон двигался дальше вместе с семьей, сиротами и детьми, которых посылали к нему в обучение родители.

Я вглядывалась, вслушивалась во все это, размышляя о многих и многих подвижниках еврейского просвещения, которые, вдохновляясь идеей распространения знаний, передавали оное из уст в уста. Для этого народа, одержимого слушанием, устное слово было превыше всего. Я жестикулировала, я кричала, я шевелила губами, пробуя произнести «шма, Израэль», снова и снова «шма, Израэль», словно прежде не умела разговаривать, я сотрясала воздух, «шма, Израэль», до того мне хотелось быть услышанной, я пробовала на язык этот язык, пробовала рассказать свои истории, переводя их, перенося их в мой неродной немецкий, я рассказывала все эти истории, одну за другой, но сама не слышала, что говорю.

## Полет

Я не спускала глаз с учителя, с Шимона, следя, как он, возвращаясь из очередного похода в поисках денег, торопливо шагает мимо покосившихся от старости домишек тихого городка, здесь, в этих улочках-проулках, живы Бог, Польша, Полен, Польша, Полония, Полония, ро-лап-ја, здесь-жив-Бог, три ивритских слова, превращавшие славянскую Польшу в обетованную землю евреев, и все они, ведомые своим языком, теперь жили здесь, я все еще не спускала с него глаз, глядя, как он спешит по узким улочкам к детям, и вдруг, за следующим углом, он отделился от земли и полетел по звездному небу над городком, а почему бы и не полететь, когда столько забот, летишь, любишь, мечтаешь, столько детей, своих кровных и сирот, как звезд на небе, как шестьсот тринадцать заповедей, больше за время прогулки не считаешь, я пробовала, летим навстречу утру, навстречу завтра, параллельно времени и пространству, а иной раз и наперерез им, следуя своей линии полета, а еще мудрым и строгим книгам, которых нам ни в жизнь не прочесть и не понять, проемы улиц-переулков брезжат прозеленью, моя ночная прогулка, моя погоня за Шимоном, учителем, который прячет в карманах своего лапсердака, что чернее ночи, мелкие пестрые стеклянные шарики из Вены, леденцы из Львова, сладкие, но с кислинкой, ибо язык, звучащая речь должны иметь вкус, ну и карандаш, карандаш у него всегда с собой, а в небе вслед за ним летят kościół, костел, и кувшин, и подсвечник, там, в небе, настоящая круговерть, в нем теперь полно летящих предметов, еще одна церковь с медными маковками куполов и покосившимся золотым крестом, а за ней скрипка и голубой цветок, юноши с огромными, в опушке длинных ресниц глазами, они совершают еще несколько виражей над землей своей любимой Полонии, своей обетованной Польши, над домом Бога, и именно здесь могла бы начаться история одной семьи, история целого клана, а быть может, даже и эта история.

## Врата

Первое заграничное путешествие привело меня в Польшу. Было это летом 1989-го, всю страну трясло от шоковой терапии, как именовался экономический эксперимент, в ходе которого были отпущены цены. Поездка на шесть дней, один был отведен на Освенцим. Вспоминаю вид из окна на плоскую даль, казавшуюся мне столь знакомой, почти родной, словно я и не уезжала никуда, и небольшие холмы вдоль уползающей куда-то равнины, неброская растительность, неяркие, как бы чуть поблекшие краски, вспоминаю своих соседей по автобусу, разговоры о музыкальном фестивале в Кракове, а еще небольшой магазинчик при входе в Освенцим, полный всевозможных товаров, никакого отношения к мемориалу не имеющих, – там можно было дешево купить серебро, цепочки, кольца, крестики, может, были и какие-то другие вещицы, но они уже стерлись в моей памяти. Все, кто до этого хоть раз побывал в Польше, везли домой серебро. «Серебро покупайте!» – таков был девиз. Люди быстро вошли во вкус торговых сделок, некоторые из дам в нашем автобусе везли с собой электроутюги и щипцы для завивки, чтобы с выгодой их здесь, в Польше, продать. Помню, как внезапное алчное желание непременно хоть что-то купить, допустим, цепочку, пусть она мне, вообще-то, не нужна, боролось со стыдом – как можно здесь, перед этими вратами, думать о деньгах и барыше, в конце концов, я ведь из приличной семьи, что у нас неизменно означало: «собственнические инстинкты следует обуздывать», – при нашей бедности это нетрудно, зато это придавало нам достоинства, подтверждая нашу порядочность и благовоспитанность. Однако настали новые времена, и оказалось, что с вековыми моральными нормами не все ладно. Если не куплю цепочку, думала я, то потом точно буду жалеть, мол, упустила возможность наконец-то побыть, как все, сообща и заодно со всеми, кто закупается, потому что наконец-то хоть что-то можно купить, и раз все так делают, значит, это наверняка выгодная инвестиция. Инвестиция – это было одно из новеньких, с иголочки, словечек, так что, наверно, ничего такого уж плохого нет в том, чтобы купить здесь, на входе в Освенцим, серебряную цепочку. Нет, это не будет безнравственным поступком, напротив, очень даже современно, позволить себе здесь нечто земное, в знак, допустим, победы над фашизмом. Но чем больше силилась я себя переубедить, тем острее ощущала в душе разлад, чувствуя, насколько неуместна здесь подобная практичность. Скрепя сердце и, кажется, сколько помню, даже затаив дыхание, я наконец решилась на компромисс и купила три цепочки – в подарок, как будто акт будущего дарения снимает вопрос о добре и зле. Одну цепочку маме, другую – лучшей подруге, третью просто так, на всякий случай. Эту третью я потом все-таки взяла себе, покуда какое-то нехорошее чувство внутри не вынудило меня ее потерять – лишь наполовину нечаянно, хотя и не без сожалений. Карл Маркс тоже ведь что-то писал о цепях, которые сбрасываешь на пути к свободе.

И вот, когда я, купив три цепочки, стояла перед вратами Освенцима, память мне отказала. С этого мгновения я не помню ничего. Уже сколько раз пыталась я заставить свою память прошмыгнуть в эти врата – просто так, только взглянуть, – все тщетно. Бесследно. Я там была, но внутри глухо, и я вынырываю из беспомысленности только на следующий день, когда мы въезжаем в красивый городишко на юге Польши, с живописной рыночной площадью и недавно построенным, по-современному строгим и скромным костелом. А в себя прихожу при виде молодого священника, на которого смотрю как на некое неведомое мне и всей мировой науке существо, словно он первый человек, которого я вижу после потопа, словно я только что вышла из его ребра, а ему и невдомек, что я того же, что и он, биологического вида. Я рассматриваю его остро очерченные ноздри, его устремленные на Богородицу глаза в оторочке веером раскрывшихся ресниц, его руки, его длинные, слишком подвижные пальцы, – рассматриваю так, будто все человеческое мне в диковину, всю эту анатомию, которая сейчас, бог весть почему, укрыта

рясой, а когда он тихо и вдохновенно рассказывает нам о своей новой общине, мне трудно сконцентрироваться и вникнуть в его приходские заботы, настолько невероятно, сверх всякой меры красив он в моих глазах. Потому что, стоит мне сконцентрироваться, – и придется допустить в себя воспоминания о вчерашнем, обо всем, что видела и слышала, о том, как можно концентрировать людей, а значит, и меня тоже, но вместо этого что-то внутри меня вопрошает: как же так, с какой стати целибат и как тогда насчет воли Божьей, раз этот священник мне так нравится? И я очень хорошо помню, что твердо верила в Бога, именно в то мгновение, когда восхищение красотой путала с вожделением, – во мне была вера, возможная лишь потому, что я нечто забыла напрочь и не помнила, что именно.

Киевские попутчики мои, которых тогда в Польше еще принимали за русских, уже закупившиеся, обвешанные и украшенные серебром, были в тот день необычно молчаливы, никто не шушукался и не трепался, напротив, они задавали священнику вполне разумные вопросы – о Боге, о коммунистах и особенно об экономических реформах, и эта их серьезность свидетельствовала о том, что и они не вполне очнулись от вчерашнего кошмара, видения которого все еще проносятся перед ними призраками на своих длинных тоненьких ножках.

Разумеется, я помню, что мы через эти врата прошли, и помню, что над ними написано, – помню как дважды два, как «жил-был у бабушки» или как «Отче наш», вот только понимаю не очень, я точно знаю, что над вратами написано, и, наверно, именно поэтому я так ненавижу работу, даже само слово Arbeit, слово, которому теперь уже никогда, никакими деньгами и никакими стихами от этого речения, от этого обречения не откупиться, наверно, потому я и вообще в отношении к работе определиться не могу, все время себя спрашиваю, куда меня с этой работой тащит, потому что это ведь правда – то, что там про работу говорится, и тогда все это вообще неразрешимо. Я помню, как там проложены дорожки, помню, что там можно было увидеть, ведь я потом и эти бараки, и контейнеры эти, как на оптовом складе, и всю территорию не один раз видела, достаточно часто, чтобы запечатлеть в памяти, но о том дне никаких воспоминаний не осталось.

Эту амнезию, что встает перед глазами толстым белесо-матовым стеклом, я пыталась заслонить, заклеить картинками более поздних впечатлений, – ни одна не держится, все опадают, как прошлогодняя листва, и я вижу только фрагмент живописного полотна – золотистый осенний день и смешанный лес на краю пейзажа.

## Нить Ариадны

Много лет прошло с тех пор, как умерла моя бабушка Роза, но я все еще нахожу ее шпильки для волос, черные советские шпильки из неведомого мне податливо-гибкого металла, которые в пору распада советской империи исчезли из продажи, может, сырье изготавливали в одной из наших республик, сами же эти скобочки-заколки – в другой, потом где-то в Средней Азии их заворачивали в бумагу, а уж оттуда снова доставляли в центр, – тогда все производилось в таком вот плано-хозяйственном безумии. Шпильки бабушки Розы я находила во всех городах мира, в гостиницах, на суперсовременных вокзалах, в проходах вагонов, в чужих квартирах, словно незадолго до меня Роза успела побывать во всех этих местах и, зная о моей потере, своими шпильками указывает мне путь домой, – именно она, сама ни разу не побывавшая за границей.

В последние годы жизни Роза без устали и в страшной спешке писала мемуары – карандашом на белой бумаге. Бумага, словно желая опередить свое естественное старение, стремительно желтела, но Роза слепла еще скорее. Страницы она не нумеровала, а просто складывала одна на другую. Может, смутно понимала бессмысленность нумерации, раз уж написанные строчки все равно никто расшифровать не в состоянии? Часто она забывала взять чистый лист и писала уже по написанному одну страницу за другой. Новая строчка наезжала на старую, потом на них ложилась следующая, они покрывали друг друга, как волны песка на пляже, и, словно подчиняясь неким природным силам, переплетались карандашными завитушками в плотную кружевную вязь.

Роза плела эти кружева наперекор подступающей слепоте, торопясь увязать друг с другом строчки-координаты своего исчезающего мира. И чем темнее обступал ее мрак, тем плотней и убористей ложились на бумагу строчки. Некоторые места напоминали свалывшуюся шерсть, там смешалось все: цены на картошку в восьмидесятые годы, рассказы о войне, воспоминания о случайных встречах. То одно, то другое слово проглядывало иной раз из этих шерстяных дебрей – «больные», «Москва», «вклад души». Много лет я надеялась, что все это можно будет расшифровать, восстановить, вроде бы в Америке есть приборы, способные эту мешанину распутать, покуда не поняла, что Розины письма предназначены вовсе не для чтения, а лишь для того, чтобы за них держаться, – это крепко сплетенная, грубошерстная, неразрывная нить Ариадны.

Она сидела у подоконника в нашей многоэтажке на улице Флоренции, как за столом. Сидела, видя за окном ничуть не больше, чем в комнате, и писала.

Единственное, что я еще записываю от руки, – это телефонные номера, я заночу их в маленькую, украшенную шрифтом Леонардо да Винчи записную книжечку, которую много лет назад купила во Флоренции, и, глядя на благородные завитушки Леонардо, завитушки из времён, когда еще верили, что человек – мера всех вещей, я всегда думаю о нечитаемых каракулях-кружевах моей бабушки.

Руки Розы, всегда столь легкие, подвижно-летучие в языке жестов, в состоянии покоя покоя не знали, Розе хотелось стряпать, но она не могла, уже ничего не видела, а посему ее руки подчинялись теперь иным законам. Она, всю жизнь прожившая среди лишенных слуха, каждый день изъяснялась на языке жестов, ее ученики называли Розу ми-ни-а-тюр-на-я-ми-ми-ка, Миниатюрная Мимика, словно это ее настоящее имя, словно они, сосчитав слоги ее имени-отчества, Ро-за-ли-я-О-зи-ел-ев-на, перевели его на язык глухонемых и вернули обратно в полноречивый язык, чтобы и мы разобрали сказанное. Среди всех нас, слышащих, у Розы была

самая красивая и самая деликатная мимика, рассказывала мне старенькая учительница из их школы.



Я-то знала Розу, уже когда она почти совсем ослепла, даже очертания предметов едва различала, нередко принимая меня то за моего отца, то за моего брата. Но за маму, свою дочь, никогда, ведь моя мама редко бывала дома. Потом Роза вступила в Общество слепых и стала ездить по всему городу, развозя другим слепым наборы и продовольственные заказы, полагав-

шиеся им по разнарядке: тощую синюшную курицу, пакет гречки, банку сгущенного молока, коробочку шпрот. И долго не понимала, что помогает тем, кто видит гораздо лучше ее, а ей самой – не помогает никто.

Однажды я увидела, как она переходит улицу, не различая ни светофоров, ни машин, но не упуская из виду свою главную, заветную цель, сокрытую от остальных прохожих, – своих слепых подопечных и их продовольственные заказы. Она ринулась на проезжую часть, словно это сцена. Я и вскрикнуть не успела, а она уже была в самой стремнине бурного транспортного потока. Машины тормозили, будто их мягко и бережно придерживала незримая десница, не слышно было ни визга, ни скрежета, словно на некое мгновение все вокруг погрузилось в мир глухоты. Не иначе, над Розой парили ангелы-хранители. А уж как она находила остановки, номера, адреса, этажи, квартиры и людей в этих квартирах, для меня и по сей день остается загадкой.

Независимая и упрямая, Роза никому не позволяла себе помогать, ей даже в голову не приходило, что она сама нуждается в помощи. Тайком копила деньги себе на похороны, как и многие другие старухи и старики, не желавшие никому быть в тягость даже после смерти. А потом наступила перестройка, цены, как великаны в сказках, росли прямо на глазах, и все Розины сбережения в одночасье пропали.

Всякий раз, когда стрелка некоего незримого прибора достигала незримой отметки, бабушка спускалась вниз, в булочную. Покупала четвертинку черного и прятала под подушкой. Такой вот бесхитростный трюк, чтобы перехитрить смерть, – раздобываешь краюху хлеба, и смерть тебе нипочем. Чем больше она старела, тем глубже погружалась обратно, в войну. Мама всегда приходила в ужас, обнаруживая такую краюху, это был общеизвестный распространенный синдром войны, и никто не знал, как его исцелить.

Вспоминаю, как бабушка сидела перед телевизором – чуть справа, неестественно прямая, почти вплотную к экрану, без очков, ибо от очков уже не было проку, и так часами. Ее профиль врезался в мерцающую черно-белую картинку экрана. Без нее я телевизор никогда не смотрела, и еще много лет после, когда включала или даже в кино, краем глаза всегда ощущала, смутно видела ее силуэт, словно сама навсегда подключила его к своему зрительному нерву. Однажды она в унисон с телевизором пела «Интернационал»: «Никто не даст нам избавленья, не бог, не царь и не герой! Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой», по-русски наша слитность в бедности и нищете ощущалась даже сильнее, чем в оригинале, бабушка верила в эти слова, а я верила ей и верю поныне.

Усугубляющаяся слепота, сколь ни затрудняла она повседневное существование, похоже, оказалась чем-то вроде почетной награды, ибо Розу пощадила глухота. Слух ее со временем только обострился и даже утончился настолько, что она стала слышать голоса, которых давно уже не было на свете. Чем сильнее она слеpla, тем полновзвучнее пел в ней мир ее молодости.

Роза ведь хотела стать оперной певицей или поступить в оперетту, потому что танцевать она тоже любила, и, пока была молодой привлекательной женщиной, частенько украдкой удирали из дома, из этой истовой обители, из этой фабрики обучения глухонемых, чтобы сходить в оперетту, в одиночку, только для собственного удовольствия. Она стала логопедом, учительницей для глухих, она пела и танцевала для своих учеников при малейшей возможности. Еще и в семьдесят пять она исполняла для меня свои любимые арии – из «Цыганского барона», «Летучей мыши», мелодии из «Баядерки» и Верди на все лады.

«О Боже, чем я виновата, что люблю Альфреда, как родного брата», – пела она, воспроизводя все причуды русского перевода «L'amore d'Alfredo perfino mi manca». Лишь годы спустя я выяснила, что это ария Виолетты из «Травиаты», а тогда всякий раз пугалась, столько неподдельной страсти было в голосе Розы и до того не вязалась эта страсть с обликом моей бабушки, которая вот уже сорок лет жила без мужа, без мужчины. Роза знала десятки итальянских арий, правда по-русски, и сама себе аккомпанировала, пела и вслепую играла на черном пианино, что стояло у меня в комнате.

Она сама и ее старшая дочь Лида еще обучали глухонемых детей, моя мама и я – уже нет. Но жестикуляция, сама повадка нам остались. Говоря, мы всячески помогали себе руками, словно наша речь без этого сопровождения неполна, неполноценна. То одну руку поднимешь, то другую, пальцы вдруг сплетешь, – мелкие движения, вроде бы без смысла и цели, сами себе противореча, сопрягались в воздухе в причудливый орнамент, – мы, наследницы, несостоявшиеся преемницы, аккомпанировали себе жестами, никто этих наших аккордов не понимал, даже мы сами, мы и на пианино-то больше не играли, постепенно забывая язык наших рук, беспомощно шарящих в пустоте.

Когда Роза состарилась и уже не преподавала – мне так и не довелось увидеть, чтобы она с кем-то общалась на языке глухонемых, – она иногда, сидя за столом у нас на улице Флоренции, вдруг совершала бессмысленные, но удивительно красивые движения, будто она и вправду родилась в Италии, и непрестанно вертела в руках нож и вилку, приборы то и дело падали на пол, ножи летали в воздухе. Кому-то досталось в наследство столовое серебро, нам же – только неловкость в умении обращаться с приборами из нержавеющей стали. Когда тетя Лида, дочь Розы, ушла с работы из школы для глухонемых, она начала курить, лишь бы чем-то занять, обуздать сигаретой и спичками свои руки, своевольно летающие в разговоре. Чирк – затяжка! Тихо вы! Дочь Лиды, Марина, беспрерывно вязала, и не жестами в воздухе, как глухие и их учителя, а по-настоящему – свитера, носки, юбки, вязала всё, вплоть до бикини, и только я осталась с пустыми руками перед клавиатурой компьютера.

Но главное – это ее ноги, говорила моя мама, Роза гордилась своими ногами, и, между нами, среди всех женщин нашей семьи у Розы были самые красивые ноги. У моей бабушки и вправду были очень красивые ноги, еще и в больнице, незадолго до смерти, она, все такая же легконогая, показывала медсестрам, как танцевать чарльстон, это случилось, когда сестры проветривали палату и Розе, несмотря на боли, приходилось вставать, – она могла уже только лежать или танцевать. Мама, приходя ее навещать, видела, как ее мать танцует, после инфаркта ей это было категорически запрещено, и все это знали, и тогда же, рассказывала мама, Роза перед соседками по палате произнесла целую речь, она рассказывала о Москве двадцатых годов, как она училась танцевать, пританцовывая, она рассказывала о нэпе, новой экономической политике, и как ей довелось слушать выступление Троцкого в «Молококоопсоюзе» и как он вывел на сцену живую корову, ну, может, и не сам, мягко уточняла моя мама, а кто-то еще во время его выступления, а мне подумалось, что, не иначе, это чарльстон напомнил нашей Розе о Троцком с его коровой, и она, легконогая, танцуя, приобщалась к всемирной истории.

Ноги у женщин нашей семьи портились из поколения в поколение, портились в буквальном смысле, уверяла моя мама, уверяла вполне серьезно, хотя, вообще-то, любила пошутить, – а все дело в том, что женщины нашей семьи из века в век по шесть дней в неделю простаивали на ногах перед своими учениками. Вот ноги и кривели, и ступни становились все плосче, уплощались, как лапки у лебедей, рассуждала мама, словно веруя одновременно в дарвиновскую эволюцию и в Овидиевы метаморфозы и не на шутку тревожась за мою будущую судьбу.

На фотографиях можно видеть и моего дедушку Василия, красивого мужчину с тонкими чертами лица. Опершись на левое колено, он сидит у стола, покрытого тяжелой скатертью с бахромой, перед ним корзина, полная роз. На столе лихо отплясывает Роза, что-нибудь из кальмановских оперетт, «Красотки, красотки, красотки кабаре...». Я не в силах что-либо на этой фотографии изменить, разве что корзину роз чуть в сторону отодвинуть, а запечатлено на снимке, как нам рассказывали, предложение руки и сердца, вот так, корзина роз и танцующая на столе логопед Роза.

Когда боли в сердце усилились и Роза стала звать Анну и Лёлю, своих маму и сестру, которые когда-то ушли по Большой Житомирской навстречу смерти, мама послала мне в Ленинград телеграмму. Роза умерла в клинике, на одном из верхних этажей. Десять минут спустя мама подошла к окну и увидела, как я там, внизу, торопливой поступью по свежавыпавшему за ночь снежку пересекаю широченную плоскость двора, оставляя за собой следы, – как птица, добавила она.

## Последняя мама

Спасаясь бегством от войны, проскитавшись несколько месяцев, моя бабушка Роза нашла работу в небольшом поселке Кинель-Черкассы на Южном Урале. Районный руководитель вверил ей судьбы двухсот детей, Розе предстояло организовать детский дом для этих двух сотен полуголодных детишек из Ленинграда, и чтобы ни один не умер, иначе... Этот руководитель еще что-то хотел добавить, рассказывала мама, но осекся, потом пообещал моей бабушке всяческую помощь, однако нечто недоговоренное так и повисло между ними в воздухе, что-то вроде *иначе... расстрел*. Впрочем, может, это слово тогда повсюду висело в воздухе как самая привычная вещь на свете, ведь даже знаменитый приказ тех времен: «Ни шагу назад! За нами Москва!» подразумевал ту же угрозу. Слова *иначе расстрел* едва ли не у каждого тогда на языке вертелись, готовые сорваться при первой возможности, приходилось сдерживать себя, чтобы они не вырвались из уст сами собой, как у вороны карканье. А может, тот руководитель просто хотел сказать, что дети до крайности ослаблены, их жизни в опасности и Розе надо спешить, иначе умрут.

Вот так Розалия Кржевина-Овдиенко, бывший директор киевской школы для глухонемых, весной 1942 года стала директором детского дома для двухсот ленинградских детей-блокадников – по приказу военного времени. Она очень торопилась, и все ей помогали. Военные подразделения, отправлявшиеся на фронт, отдавали детям часть своего провианта, близлежащие колхозы и местное население тоже помогали кто чем может, хотя голодали все. Дети были очень слабы, некоторые в стадии крайнего истощения, *дистрофики*, все они спаслись из осажденного города, из тисков блокады, по так называемой Дороге жизни, по льду Ладожского озера. И ни один из Розиных сирот не умер.

Не могу не думать о рокировках судьбы, о случайных совпадениях во времени и пространстве. Ведь примерно в то же время Януш Корчак, сосед и коллега Розиного отца Озиеля, тоже эвакуировался из Варшавы, и тоже с двумя сотнями детей-сирот, – и тоже по военному приказу. Янушу Корчаку предложено было спастись, но одному, без детей.

В Киеве, еще в Первую мировую, Корчак начал свою знаменитую книгу, в немецком переводе она называется «Как надо любить ребенка», хотя в оригинале, по-польски, просто «Как любить ребенка», три слова всего, вот эту книгу Корчак начал в Киеве, на той же улице, где позже жила моя бабушка, так они снова, сами о том не ведая, оказались соседями во времени и пространстве, он писал эту книгу в Киеве, потому что его забросила в мой город война, а потом вернулся в Варшаву. Вздумай тогда мой прадедушка Озиель и моя бабушка Роза тоже вернуться в Варшаву, они вместе со своими сиротами и родными детьми оказались бы соседями Корчака, соседями по всем последующим адресам и по участи.

Главной задачей Розы как директора детского дома было раздобыть еду. Приходилось обделывать полуголодных, чтобы хоть что-то дать вконец изголодавшимся. День и ночь разъезжала она по окрестным деревням, добывая продовольствие у местных жителей, а однажды ее только чудом не расстреляли. В одном из отдаленных колхозов ленинградским детям выделили две бочки растительного масла, по тем временам дар поистине сказочный. Но когда Роза уже к ночи на подводе вернулась в детдом, одна из бочек оказалась пуста, хотя в накладной черным по белому было написано: *две полных бочки*. Это означало только одно: хищение, военный трибунал. Никто не верил, что Роза способна украсть, но закон военного времени сильнее всякой веры. Лида, старшая дочь Розы, ей тогда было пятнадцать, все-таки уговорила уполно-

моченного проехать той же дорогой, и через десяток километров они обнаружили след масляной струйки.

Мало-помалу к детям возвращались силы, они медленно приходили в себя. Тут-то и выяснилось, что все они – маленькие музыканты и танцоры, эвакуированные по разнарядке ленинградского Дворца пионеров, где проходили обучение у преподавателей музыки и хореографов. Балетной обуви не было и в помине, бедность волей-неволей подбивала на модерн, дети танцевали босиком, раскованно, в самодельных туниках и накидках они кружились и парили в просторном вестибюле детского дома. И с концертами выступали перед военными и в окрестных селах.

Резервный полк № 5 Военно-воздушных сил снабжался лучше других армейских частей и делился своими припасами с детским домом. Скучая по своим детям, пилоты иногда приходили поиграть с детдомовцами, а те, понятно, тосковали по отцам. У моей матери было тогда два очень красивых платья, одно пурпурного, другое темно-синего шелка, ее отец привез их из только что оккупированной советскими войсками Литвы, он был животноводом и ездил туда закупать коров. Роза взяла с собой эти платья для своих дочек, когда в конце июля 1941 года убегала из Киева, зимних вещей у них с собой не было, возможно, думали они, до зимы вернемся, а может, в спешке и панике вообще ни о чем не думали.

Роза, ей тогда было тридцать шесть, два года вообще ничего не слышала о своем муже, но убежденная в том, что беда на всех одна, вопросами личной судьбы не считала возможным задаваться. Жила она вместе с дочерьми в вестибюле детского дома, того самого, где проходили репетиции оркестра, танцоров и хористов, в тесном соседстве с музыкой, пением и танцами, отделенная от всего этого искусства лишь тоненькой занавеской.

Действительно ли все эти дети были сиротами? Или их просто так называли, поскольку их эвакуировали без родителей? Пытался ли кто-нибудь этих родителей разыскать? Или все были уверены, что их уже нет в живых? Похоже, считалось, что родители детей умерли в блокаду от голода или погибли на фронте, и вопросов никто не задавал.

Тем не менее одна мама как-то раз объявилась. В военной форме, тяжело больная. Быть может, последняя из матерей всех этих сирот. Она долго своих детей разыскивала и вот нашла маленького сынишку и десятилетнюю дочку. Когда она приехала, они как раз были на занятиях в школе. Женщина долго говорила с Розой, которой предстояло подготовить детей к встрече с матерью. Моя бабушка, рассказывала мама, пыталась уговорить женщину уехать, так и не повидавшись с детьми.

С фронта ее комиссовали по болезни, у нее был туберкулез в открытой стадии, и хотела она только одного – к детям. Заразная, она была источником инфекции, находиться в детском доме ей было никак нельзя, поэтому Роза подыскала ей комнату поблизости, где дети могли ее навещать. Через две недели она умерла, дети в это время опять были в школе. В тот день снова был концерт, объединенный хор детского дома выступал перед солдатами, которые назавтра отправлялись на фронт. Роза сказала девочке: вы можете сегодня не петь. Но та ответила: нет, мы будем.

## Могендовид

Во время той поездки в Польшу в 1989 году я побывала и в Варшаве, городе, где в 1905 году родилась моя бабушка Роза. В ту пору Польша еще была частью царской России.

Здесь даже воздух был иным – другого запаха, другого вкуса. Я бродила по заново отстроенному старому городу, заглядывала в каждый костел, гуляла по парку. Потом блуждала по длинным новым проспектам с их светло-серыми безликими многоэтажками, смахивающими на допотопных чудищ с пустыми глазницами. Старой Варшавы больше не было. Где-то в самом конце одного из этих новых проспектов я обнаружила старые полуразрушенные дома. Они стояли там, как раскрытые книги, голые, выставив напоказ людям и небу свое выпотрошенное нутро, и зябли даже под солнцем. По большей части уже наполовину снесенные, это были только корешки и переплеты книг – с выданным содержимым. На форзацах – следы незнакомой жизни, изнанка чужой укромности, мелкие пестрые квадраты былых спален, гостиных, кухонь, чехарда разноцветных обоев, почти сплошь испещренных какими-то надписями, которые я пытаюсь расшифровать, и чем больше разбираю, тем медленнее читаю, покуда не понимаю, что все это – бесчисленные проклятия и ругательства в адрес тех, кто жил здесь ранее и кого здесь больше нет. Ничего подобного я не ожидала, даже вообразить не могла в столице моей первой зарубежной поездки, родном городе моей бабушки, на стенах этих покалеченных, выпотрошенных, заброшенных домов. Взгляд мой проникал все дальше и дальше сквозь вязкую от поношений пустоту бывших комнат, и я не понимала, почему глаз не могу оторвать от этого поругания, почему уставилась на эту зияющую наготу, словно солнечным днем в парке наткнулась на эксгибициониста, раздернувшего вдруг полы своего плаща, и нет никакого спасения и некуда убежать от этой нечаянной, от этой омерзительной встречи. Да и как мне было отвести глаза и куда – там, в этом некогда самом еврейском из городов Европы?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.